

МИРА ВЕЙН

Когда погаснет маяк

Если
со мной
что-то случится,
значит,
я была права.

Некоторые тайны
не тонут даже
спустя двадцать лет.

Мира Вейн

"Когда погаснет маяк"

«Автор»

2026

Вейн М.

"Когда погаснет маяк" / М. Вейн — «Автор», 2026

Когда погаснет маяк — роман о первой любви, тайнах прошлого и выборе, который меняет всё. Семнадцатилетняя Лера привыкла жить так, будто главное уже случилось без неё. Три месяца назад умер отец, и теперь есть только море, старый маяк, молчание взрослых и его письмо, которое нельзя открыть раньше времени. В комнате под крышей она находит чужую тетрадь. Соня Климова, семнадцать лет, вела дневник двадцать лет назад — последняя запись обрывается накануне встречи, с которой не вернулась. Город зовёт это несчастным случаем. Тетрадь говорит другое. Не сдать помогает только Максим — парень, который слишком много скрывает и которого город старается не замечать. Вместе они поднимают со дна то, что предпочли забыть двадцать лет назад. Чем ближе Лера подходит к правде, тем яснее понимает: свет маяка иногда не спасает, а показывает то, от чего хочется убежать. История о первой любви, начавшейся с недоверия, о боли, которую нельзя обойти, и о взрослении, после которого не остаться прежней.

© Вейн М., 2026

© Автор, 2026

Содержание

ПРОЛОГ	5
Город умеет молчать	5
Глава 1	11
Чемоданы	11
Глава 2	17
Дом	17
Конец ознакомительного фрагмента.	24

Мира Вейн

"Когда погаснет маяк"

ПРОЛОГ

Город умеет молчать

24 июля 2004 года. Скальное. Суббота, половина десятого вечера.

Город называли Скальным, потому что с трёх сторон его обступали серые известняковые скалы, а с четвёртой — море.

Летом море было синим и щедрым. Оно пахло водорослями и рыбой, и разогретым камнем в полдень, и озоном после дождя. Зимой оно становилось тёмным и неразговорчивым, и тогда Скальное сжималось: закрывались кафе на набережной, уезжали немногочисленные туристы, деревянные лавки на пристани укрывали брезентом, и только рыбаки по-прежнему выходили в море — ранним утром, когда ещё стоял туман, — потому что у рыбы свой собственный сезон.

Соня Климова выросла в этом городе. Она знала, как пахнет причал в жару — смолой и старым деревом, — и как звучит маяк в туман: не гудок, а низкий протяжный стон, который слышно даже в конце самых дальних улиц верхнего посёлка. Она знала, где в мае цветут маки на обрыве, какая тропинка к морю короче и у кого в Скальном можно купить козий сыр в шесть утра в воскресенье, не разбудив хозяйку. Она знала этот город так, как знают только то, что никогда не выбирали, — полностью и без романтики.

Днём суббота парила так, что асфальт плыл и море лежало белёсое, обморочное. А к вечеру с запада пришло другое небо. Воздух переменялся часам к восьми — Соня почувствовала это через открытое окно: тянуло солью и чем-то тяжёлым, грозovým, тем особым запахом, который приходит с западной стороны за несколько часов до шторма и не похож на обычный морской ветер. Резче. Тревожнее. Занавеска шевелилась медленно, как живая.

Соня сидела за письменным столом при свете настольной лампы, и перед ней лежала тетрадь.

Тетрадь в синей обложке, в клетку. Страницы плотные, желтоватые — такие продавались в канцелярском отделе Дома быта за три рубля пятьдесят. Писать было нечего: всё написано вчера. Она просто перечитывала последнюю страницу — ровный почерк с небольшим наклоном вправо и строчки, съезжающие вниз там, где рука вчера заторопилась.

Завтра встречаемся у маяка. Ветров согласился — говорит, хочет объяснить лично.

«Завтра» наступило. За окном оно уже темнело и пахло штормом.

Копии она отправила вчера утром — сама опустила конверт в облупившийся синий почтовый ящик, мимо которого ходила в школу все одиннадцать лет. Конверт был толстый, оклеенный марками по всей кромке; приёмщица взвешивала его дважды. Теперь он ехал на север, через полстраны, туда, где Соня никогда не была. Пашка получит. Пашка поймёт.

Соня закрыла тетрадь.

Встала, прошла к книжной полке — та занимала всю стену над кроватью, от пола до потолка, потому что папа когда-то давно сделал её из досок и покрасил белой краской, и Соня с тех пор жила в окружении книг и считала это самым правильным устройством мира. Второй ряд, справа, где стояли учебники химии за восьмой и девятый классы, которые уже никому не были нужны. Она задвинула тетрадь за них, в темноту, и заставила учебниками с обеих сторон.

Никто не станет искать тетрадь за учебниками химии.

На столе осталась стопка листов — переписанные от руки акты, даты, суммы, регистрационный номер. Всё её зимнее богатство. Соня собрала листы, вложила в папку — жёлтую, с металлическими клипсами, такие выдавали в школьной канцелярии под документы классного журнала, — и убрала папку во внутренний карман ветровки. Застегнула молнию.

Посмотрела на часы.

Без четверти десять.

Дом спал. Мама заснула в девять, как всегда, — она вставала в половине шестого, потому что молочный фургон приходил рано, и этот ритм не менялся уже столько лет, что стал частью дома, как скрипящая ступенька на лестнице или запах лаванды от шкафов. За стеной было тихо. Только часы в коридоре тикали — медленно, равномерно, как будто время никуда не торопилось.

Соня вышла бесшумно — это она умела. Третья ступенька не скрипит, если наступать на самый край. Дверь нужно придержать за ручку, тогда петли молчат. Перед маминной дверью — белой, с потёртой латунной ручкой — она остановилась на секунду и почти зашла. Почти.

Потом решила, что не стоит.

Пусть мама спит.

* * *

Ночное Скальное было другим городом.

Днём оно казалось маленьким и понятным: сорок улиц, два магазина, почта, школа, рыбный завод за портом, пять кафе в сезон и одно круглый год — то, что у набережной, которое держал дядя Костас, потомок греческих рыбаков, приплывших сюда ещё при царской власти. Всё на виду, всё известно.

Но ночью улицы сужались. Фонарей катастрофически не хватало — те, что стояли, поставили ещё в советское время, половина давно перегорела, а новые год за годом ждали своей очереди в районном бюджете. В тёмных промежутках между светом прятались дворы, чужие окна, тени деревьев. Море слышалось везде — и сегодня оно не гудело, как обычно, ровно и далеко, а работало: било, отступало и снова било, всё чаще, всё ближе.

Соня шла по Маячной вниз. Булыжник, уложенный задолго до её рождения и отполированный тысячами подошв, уже принял первые капли — редкие, тяжёлые, как предупреждение. Кошка пересекла дорогу, чёрная в темноте, только глаза вспыхнули жёлтыми угольками. Где-то в верхних кварталах залаяла собака и умолкла, будто передумала.

У аптеки вывеска раскачивалась на металлическом кронштейне с тем самым скрипом, который слышен в любую погоду. Соня слышала этот скрип всю жизнь. Когда они с Пашкой возвращались из школы, они всегда отсчитывали шаги от аптеки до автобусной остановки — двадцать три, всегда двадцать три, это было важно по какой-то детской причине, которую она уже не помнила.

Пашка уехал шесть лет назад — мать увезла его сразу после суда, подальше от этого города и от всего, что было с ним связано. Соня иногда думала: а если бы они остались? Ответ она знала. Маленький город долго не забывает тех, чьи отцы прошли через суд.

Остановка стояла пустая, с облупившейся синей скамейкой и выгоревшим расписанием под стеклом. Соня прошла мимо, не считая шагов.

Набережная встретила её ветром — уже не порывами, а стеной. Здесь кончалась защита домов и переулков: открытый берег, брусчатка, ряд акаций, гнущихся разом, как трава, и впереди море — тёмное, вздыбленное, в белых шапках пены. В угловом доме над набережной жёлто светилось одно окно, и за занавеской стояла тень. Соня не оглянулась. В этом городе на тебя всегда кто-нибудь смотрит; она перестала это замечать давным-давно — и только сегодня почувствовала снова, лопатками.

Вдали, на мысу, работал маяк: вспышка — темнота — восемь секунд — вспышка.

Восемь. Она посчитала машинально, по старой привычке. Они с Пашкой однажды поспорили — семь или восемь. Это было летом девяносто восьмого, за неделю до его отъезда: они стояли на этой самой набережной, и она считала, и считала снова, пока не убедилась — восемь. Пашка проиграл и купил ей мороженое с синей тележки дяди Костаса. Абрикосовое, в вафельном стаканчике. Оно таяло быстрее, чем они успевали есть, и Пашка смеялся. Через неделю его не стало в этом городе. А ещё через три года пришло письмо, после которого он замолчал совсем.

Соня свернула с набережной на тропу к мысу.

* * *

Тропа поднималась между скал — Соня знала её наизусть, каждую промоину, каждый камень, на котором скользит подошва. Дождь пошёл всерьёз: уже не капли, а косые холодные плети, и ветер на открытом месте толкал в бок, вырывал волосы из резинки, забирался под ветровку. Юбку она надела зря. Надо было брюки. Но она не думала об этом, когда одевалась.

Она вообще о многом не думала, когда одевалась.

Она шла и считала вспышки — не для чего-то, просто чтобы идти в ритме. Вспышка. Восемь. Вспышка. Восемь. Свет проходил над тропой высоко, не освещая её, но обозначая мир: вот скалы, вот море, вот дорога, серой петлёй выходящая к мысу справа, — всё на своих местах, всё под присмотром.

Вспышка. Восемь.

Темнота.

Девять. Десять. Двенадцать. Соня сбилась, начала снова, досчитала до двадцати.

Маяк не зажётся.

Она стояла под дождём, задрала голову, и смотрела туда, где только что был свет и где теперь не было ничего — даже силуэта башни, слившейся с небом. Такого не было никогда. Сколько она себя помнила, маяк работал: в штить, в шторм, в туман, в новогоднюю ночь. Он был как тиканье часов в коридоре — его замечаешь, только когда оно прекращается.

Внутри стало холодно — раньше, чем она успела объяснить себе почему.

«Это просто свет, — сказала она себе. — Просто электричество. Сейчас починят».

Наверху, в чёрной башне, в ста двадцати шести ступенях над водой, смотритель в это самое время на ощупь, по памяти разбирал топливную систему заглохшего резервного движка, ругаясь сквозь зубы и вытирая руки о ветошь, которой не видел. Сеть легла по всей линии; телефон молчал. Он не знал, что внизу, по тропе, идёт девочка. Он вообще не знал, что этой ночью под его тёмным маяком что-то решится.

А Соня постояла ещё немного — и пошла дальше. Не потому, что не было страшно.

Страшно было. Но она уже всё решила.

* * *

Мыс встретил её рёвом.

Здесь море било в камень напрямую, без разбега, и волнорез — длинный гребень тёсаных глыб, уходящий в воду, — то выступал из пены, то исчезал в ней. Соня прошла к его началу, где камень был ещё широким и надёжным, и села лицом к маяку, спрятав ладони в рукава. Дождь лил ровно, уже не усиливаясь — некуда было.

Встреча была назначена на одиннадцать.

Она пришла раньше — нарочно. Правило из какой-то умной книги: на трудный разговор приходи первой и сама выбирай, где стоять.

За её спиной, на дороге, мазнул свет.

Соня обернулась. Фары — два жёлтых конуса, в которых косо горел дождь, — стояли у поворота от верхней развилки, не двигаясь. Минуту. Она успела досчитать до шестидесяти. Потом свет погас — не уехал, а именно погас, — и в темноте далеко стукнула дверца, и звук тут же съел ветер.

Он тоже приехал раньше. И он не хотел, чтобы его свет видели.

Соня встала.

Он шёл от дороги неторопливо, как ходят хозяева, — высокий силуэт в длинном пальто, сгибающийся под ветром ровно настолько, насколько нужно, и ни на сантиметр больше. Александр Николаевич Ветров. Тридцать семь лет. Председатель городского попечительского совета, совладелец рыбоперерабатывающего завода «Светлый берег», уважаемый человек. Человек, которому город обязан.

Человек, который однажды уже выбрал.

— Рад, что ты пришла, — сказал он, подойдя. Негромко — громкое унёс бы ветер, — но она услышала: у него был голос человека, привыкшего, что его слушают. — Ты промокла. Надо было взять зонт.

— Я ненадолго, — сказала Соня.

— Конечно.

Он смотрел на неё без злости и без страха — с тем выражением, которое она видела у него на городских праздниках, когда он жал руки и называл всех по имени. Спокойно. Немного устало. Как будто она была не человеком, а задачей, которую нужно решить до полуночи.

— Ты умная девочка, Соня, — начал он. — Ты нашла кое-какие бумаги, сделала выводы. Я понимаю, почему это кажется важным. Пашка попросил — ты выполнила. Это честно с твоей стороны.

— Захаров Алексей Петрович, — сказала она. — Он вёл в кооперативе всю бухгалтерию. Его посадили за то, чего он не делал. Он умер в колонии, ему было сорок пять. Это называется не «выводы». Это называется факты.

Ветров помолчал секунду.

— Документы допускают разные трактовки, — сказал он. — У меня есть юрист. Хороший. Он объяснит тебе — что, как и почему.

— Мне уже объясняли. Вчера. Ваш человек.

— И ты сказала, что подумаешь.

— Я подумала. — Соня сунула руку за пазуху и достала папку; ветер тут же рванул её за угол, и она прижала её к груди. — Я отправила копии. Почтой. Вчера.

Пауза была другого рода.

Фары давно погасли, маяк не горел, и его лица она почти не видела — только общее пятно, посаженное на широкие плечи. Но она почувствовала, как в этом пятне что-то изменилось — на долю секунды, прежде чем голос снова стал ровным.

— Кому?

— Пашке.

— Пашке, — повторил он медленно, как пробуют слово на вес. — Ты понимаешь, что это значит?

— Понимаю, — сказала Соня.

— Нет. — Он качнул головой. — Ты ещё не понимаешь. Ты думаешь, что делаешь правильное дело. Что правда — это что-то простое: её можно найти, отдать людям, и люди с ней что-то сделают, и всё станет лучше. Тебе семнадцать лет, и ты так думаешь, и я тебя за это не виню.

— Ему было сорок пять. — Её голос не дрожал; она сама удивилась, насколько не дрожал. — Когда он умер — ему было сорок пять. Пашке было четырнадцать.

Что-то произошло с тишиной между ними.

Хотя какая тишина: ветер выл в камнях, море ударяло в волнорез так, что дрожь отдавалась в подошвы, и где-то над всем этим тяжело ворочался гром. Но между ними двумя стало тихо. Очень тихо.

— Соня, — сказал он. — Отдай папку.

— Нет.

— Это копии. И то, что ушло почтой, — тоже копии, ты сама сказала. Бумаги, переписанные школьницей от руки, ничего не решают.

— Тогда зачем они вам?

Он сделал шаг вперёд.

Соня шагнула назад — инстинктивно, не рассчитывая, — и пятка встала на мокрый камень волнореза. Позади были камень и море. Впереди — он.

— Я не хочу тебе ничего плохого, — сказал Ветров. Спокойно. Почти ласково. — Я хочу, чтобы ты подумала. Прежде чем сделать то, чего нельзя будет отменить.

— Как в девяносто седьмом? — спросила она. — Вы тогда подумали?

Он схватил её за руку.

Быстро — она не успела отшатнуться. Пальцы стиснули запястье, твёрдо и холодно, как металл. Соня рванулась — раз, другой, — выкрутила руку, больно, но получилось. Он качнулся на мокром камне, ловя равновесие.

Она побежала.

* * *

Бегать по волнорезу нельзя — это знает каждый ребёнок в Скальном. По волнорезу ходят днём, в штиль, глядя под ноги. Соня знала это лучше многих — и бежала, потому что выбора не было: он стоял между ней и тропой, и оставался только камень, уходящий в море, а с камня — нижний уступ, а с уступа — берег, в обход. Она прodelывала этот путь сто раз.

При свете.

Свет должен был прийти — вспышка, восемь секунд, вспышка, — и она бежала, и считала, и никак не могла перестать считать, хотя уже знала, что считать нечего: маяк был чёрным. Мир остался без разметки. Камни, которые она помнила наизусть, в темноте лгали — выступ оказывался не там, трещина шире, наклон круче. Сзади что-то крикнул Ветров; слово съел ветер.

Волна ударила в волнорез слева и накрыла её до колен.

Соня устояла. Сделала ещё два шага. Уступ должен был быть здесь — ниже и правее, метровая ступень, с которой прыгают на гальку.

Правая нога не нашла опоры там, где опора была всегда.

Секунда невесомости — странная, почти тихая, как будто всё остальное вдруг отступило и стало неважным, — и не за что было схватиться, потому что не было ни перил, ни выступа, ничего: только воздух, дождь и внизу чёрная вода между камней.

Папку она выпустила первой. Листы разлетелись мгновенно — белые прямоугольники в темноте, бесполезные копии. Конверт уже на севере. Это она успела подумать.

И ещё одно — коротко, почти смешно: тетрадь за учебниками химии. Пусть лежит. Найдут.

Потом — вода.

* * *

Ветров стоял на волнорезе и смотрел вниз.

Волны. Пена. Темнота — такая, что и волны угадывались только по звуку и по белому.

Ничего больше.

Он стоял долго. Один из листов прилип к мокрому камню у его ботинка — дорогого, кожаного, чёрного от воды. Он поднял лист. В темноте нельзя было прочитать ни строчки, но он и так знал, что там: цифры, даты, регистрационный номер. Ничего, чего он не знал бы.

Он мог закричать. В ста метрах от него, в чёрной башне, был живой человек — смотритель, у которого были верёвки, багор, лодка на слипе и руки, умеющие всё это. Нужно было добежать и ударить в железную дверь. Внизу был шторм, но она могла быть жива — молодые цепляются за жизнь. Он знал это.

Он посчитал секунды — как считают не время, а цену. Если постучать сейчас — ещё можно. Потом: уже поздно, это ничего не изменит. Потом перестал считать.

Он сложил лист вчетверо и убрал в карман.

Постоял ещё минуту.

И пошёл к машине — не оглядываясь на башню. Машину он вывел на дорогу, не включая фар: на ощупь, по памяти, сквозь стену дождя, рискуя в эту минуту больше, чем рисковал за все последние годы. Свет он зажёт только за поворотом, у верхней развилки, — там, где его уже не было видно ни с мыса, ни с маяка.

Поэтому в вахтенном журнале той ночи про машину останется одна строчка: приехала — и не уехала.

* * *

В час двадцать ночи маяк ожил.

Резервный движок схватился с четвёртого раза, дал обороты, и наверху, в фонаре, набрала силу лампа, и старая линза тысяча девятьсот четвёртого года собрала её свет в луч. Вспышка. Восемь секунд. Вспышка.

Луч пошёл по воде — раз, и ещё раз, — по пустому волнорезу, по пустой воде, по камням, с которых дождь уже смыл всё, что можно было смыть. Смотритель стоял у стекла, вытирая руки ветошью, и смотрел на своё море — просто так, по привычке, проверяя мир. Мир был на месте. Свет горел до конца вахты.

Утром он узнает про девочку Климовых — и первым из всего города, раньше всех, раньше её матери, выйдет на берег. И будет ходить по кромке, глядя под ноги, до самого вечера.

К утру шторм стих.

Над Скальным встало тихое серое небо. Набережная была усыпана водорослями и мусором, который море выбросило ночью. Дядя Костас вышел открывать кафе, увидел это, вздохнул и пошёл за метлой. Кошка пила воду из лужи у аптечного крыльца. Рыбаки стояли на пристани, смотрели на море и решали, выходить или нет.

Через четыре часа Скальное узнает, что Соня Климова пропала.

Через неделю перестанут искать.

Ещё через какое-то время скажут: сбежала. Городу так будет проще.

А тетрадь в синей обложке будет лежать за учебниками химии двадцать лет — тихо, в темноте, между досок книжной полки, сделанной папиными руками и выкрашенной белой краской, — и ждать человека, который придёт и прочтает. *Если со мной что-то случится, значит, я была права.*

* * *

Глава 1

Чемоданы

Они выехали рано утром, в половине седьмого, пока город ещё не проснулся.

Мама сказала, что так лучше: меньше пробок, прохладнее, и вообще — ранние выезды всегда удачнее. Лера не стала спорить. Она вообще в последнее время старалась не спорить, тем более по мелочам, потому что большое — то, о чём действительно хотелось спорить, — было таким огромным и таким неразрешимым, что мелкое рядом с ним просто растворялось.

Она забралась на заднее сиденье и свернулась клубком у окна. Взяла с собой книгу — не читала её уже две недели, но держать книгу в руках было успокоительно, как будто она могла начать в любой момент, когда захочет. Когда только наступит это самое захочет?

Город уходил медленно.

Сначала — их улица: пятиэтажки, детская площадка во дворе, липы, которые в июне пахли так сильно, что от этого кружилась голова. Лера выросла на этой улице. Знала каждое дерево, каждую трещину в асфальте, каждую надпись на стене у продуктового. Во дворе соседнего дома жила Вика — они дружили с первого класса, потом перестали в девятом, потом снова начали, и теперь Лера уезжала, не сказав ей ничего, кроме короткого сообщения: «мы уезжаем в июле». Вика ответила: «надолго?» Лера написала: «не знаю». Это было правдой.

Потом пошли промышленные кварталы — серые заборы, склады, строительные рынки с огромными баннерами. Дорога расширилась, превратилась в шоссе, и скорость выросла. Мама включила радио, тихо, — новости, потом музыка, потом снова новости. Лера смотрела в окно и думала о папе.

Это было привычно. Она думала о нём почти всегда, фоном — как шум города, который не слышишь, пока он не стихает. Иногда мысли были конкретными: его голос, его руки, его привычка постукивать пальцем по столу, когда он читал что-то интересное. Иногда — просто ощущение, как синяк на месте, куда не смотришь, а трогаешь случайно.

Ровно три месяца и одиннадцать дней. Лера знала точную цифру.

— Ты поела? — спросила мама, не оборачиваясь.

— Нет.

— Я оставила бутерброды в пакете, за твоим сиденьем.

— Потом.

Мама больше не спрашивала. Она научилась не давить — или научилась делать вид, что не давит, Лера не была уверена, где граница. За три месяца они стали обращаться друг с другом осторожно, как с чем-то хрупким. Это было вежливо и совершенно невыносимо.

За городом началась трасса. Поля с подсолнухами — огромные жёлтые поля, которые тянулись до горизонта и казались нарисованными, слишком яркими для реального мира. Потом — сосновый лес, тёмный и плотный, пахнущий смолой и нагретой хвоей. Воздух через открытую щель окна изменился: стал гуще, смолистее. Лера закрыла книгу. Смотрела на деревья.

Папа любил сосновые леса. Говорил, что там можно думать. Они ездили однажды в Карелию — ей тогда было двенадцать, она ещё плохо понимала, зачем ехать туда, где нет ни интернета, ни нормального кино. Но там был лес, и озеро, и папа, который сидел на берегу с кружкой чая и молчал — не тягостно, а хорошо, — и это почему-то запомнилось больше всего.

Она не думала об этом полтора месяца. Странно, что вспомнилось именно сейчас.

* * *

Море она почувствовала раньше, чем увидела.

Запах — солёный, резкий, немного йодистый — пришёл в машину через приоткрытые окна за двадцать минут до того, как из-за холма показалась синяя полоска воды. Лера опустила стекло полностью. Вдохнула. Это было как что-то незнакомое и одновременно очень давнее — как будто тело помнило этот запах раньше, чем голова успела его опознать.

— Уже скоро, — сказала мама.

Дорога пошла вниз, и тогда Лера увидела город.

Скальное лежало в небольшой бухте, зажатое между скалами и морем — именно так, как следовало из названия. С высоты шоссе оно казалось игрушечным: белые дома, красные черепичные крыши, узкие улицы, по которым невозможно ехать быстро. Порт — небольшой, с несколькими лодками у причала. Маяк на мысе справа — белая башня с тёмным куполом, прямая и неподвижная. И за всем этим — море. Огромное, серо-синее, спокойное сегодня.

Лера смотрела на это сверху и думала: маленький город. Здесь наверняка все друг друга знают. Все знают всё.

Она не понимала ещё, что именно это и будет иметь значение.

На въезде стояла стела — белая, с облупившейся краской, с якорем в качестве герба. Надпись по кругу: «Скальное. Основано в 1847 году». Кто основал, не уточнялось. Лера прочитала это, пока машина проезжала мимо, и подумала: 1847-й — это ещё наверное крепостное право. И кто-то выбрал именно это место, между скалами и морем, и решил: здесь. Здесь будет город.

Зачем именно здесь, было непонятно — но теперь город стоял, и продолжал стоять, и в нём жили около двух тысяч человек, которые так же, как она сейчас, когда-то приехали или остались, и у каждого была причина.

* * *

Улицы Скального были устроены ярусами.

Верхний посёлок — там, где дома постарше, ещё дореволюционной постройки: низкие, с толстыми стенами, с деревянными ставнями, с виноградом, который лезет по любой стене, потому что здесь ему никто не мешает. Мама сказала, что греческие рыбаки пришли в эти места в середине девятнадцатого века и ставили дома так, как привыкли у себя — с двориками, с камнем, с огородами на каждом клочке земли. Их потомки до сих пор жили здесь, и у некоторых были греческие фамилии, и греческие имена через поколение, и в одном дворе на верхней улице Лера увидела старуху в чёрном, которая развешивала бельё с такой методичностью, как будто делала это тысячу лет и намеревалась делать ещё столько же.

Средний ярус — советская застройка: пятиэтажки из светлого кирпича, немного облезлые, с палисадниками, которые жильцы разбили сами, без всякого плана. Здесь росли розы и акации, и стояли лавочки у подъездов, и на одной такой лавочке сидел старик с газетой — очень старый, в белой рубашке с закатанными рукавами — и смотрел на проезжающую машину с таким выражением, как будто чужие приезжают сюда редко и всегда по какому-то неочевидному поводу.

Лера посмотрела на него через стекло. Он не отвёл взгляда.

Набережная шла вдоль всей нижней части города. Широкая брусчатка, ряд акаций, скамейки лицом к морю. По одну сторону — кафе, магазины, контора рыбного завода с полинявшей от времени вывеской. По другую — море, причал, лодки. Сейчас, в начале июля, набережная была оживлённой: несколько семей с детьми, двое рыбаков, которые чинили сети прямо на парапете, туристка в соломенной шляпе с фотоаппаратом. Всё это было маленьким и понятным, и немного похожим на декорацию — слишком правильным для настоящей жизни.

В самом начале набережной стояло кафе.

Небольшое, с деревянной вывеской: «У Костаса». На террасе — четыре столика, два занятых. Хозяин — крупный мужчина лет пятидесяти, с тёмными руками и белым фартуком — стоял в дверях и разговаривал с кем-то, кого Лера не видела. Разговаривал громко, жести-

кулируя, смеясь в конце каждой фразы. Потомок тех самых греческих рыбаков, подумала Лера — или просто человек, который здесь живёт достаточно долго, чтобы чувствовать себя частью места.

Мама притормозила у перекрестка. Костас посмотрел на их машину, на чужие номера. Кивнул — коротко, необязательно, просто признавая присутствие.

Машина поехала дальше.

* * *

Дом стоял там, где улица заканчивалась.

Не в смысле тупика — она просто переставала быть улицей и становилась тропинкой, которая уходила дальше к скалам и терялась среди камней. Дом был последним в ряду, и это чувствовалось: он стоял немного на отшибе, немного сам по себе, как будто не вполне решил, к городу он относится или уже к чему-то другому.

Двухэтажный. Когда-то был белым, но сейчас — краска взяла патину от соли и времени, стала чуть желтоватой, особенно на южной стене. Зелёные ставни, деревянные, с узором из прорезей в форме якорей. Черепичная крыша цвета терракоты — старая черепица, со мхом в стыках. С одной стороны двора рос инжир: огромный, раскидистый, с такими широкими ветвями, что тень от него накрывала полдвора и часть каменного забора. Листья у инжира крупные, тёмно-зелёные, немного жёсткие на ощупь — Лера это знала, хотя ещё не трогала.

С другой стороны — высокая каменная стена из известняка, такая высокая, что за ней не было видно ничего, кроме неба и верхушки маяка.

Маяк стоял метрах в трёхстах — к нему вела та самая тропинка. Круглый, белый, недействующий. Реконструкция, сказала мама, когда они смотрели фотографии онлайн. Скоро снова заработает. Лера тогда не ответила ничего. Она не понимала, почему это должно её интересовать.

— Ну как? — спросила мама. Голос осторожный, как рука, протянутая к чему-то горячему.

Лера вышла из машины.

Воздух здесь был другим — плотнее, насыщеннее, чем на набережной. Пахло солью, нагретым известняком, смолой с инжира и ещё чем-то, что она не сразу опознала: старым деревом. Не гнилым, не затхлым — просто деревом, которое долго стоит на одном месте и пропиталось всем, что вокруг него было. Солнцем, дождями, морским ветром.

Она глубоко вдохнула и сразу пожалела — не потому что было плохо, а как раз потому что было хорошо. Потому что хорошее сейчас ощущалось предательством. Предательством чего — она не могла сформулировать, но ощущение было именно такое.

Дверь открывалась ключом, который прислала хозяйка по почте — обычный, немного заржавевший, с деревянной биркой, на которой написано «Климов» зачёркнуто, а ниже, другим почерком: «Соколова». Прежние жильцы. Бывшие владельцы. Лера держала ключ в руке и смотрела на зачёркнутую фамилию дольше, чем нужно.

— Дай я, — сказала мама, и Лера отдала ключ.

Внутри дом был высоким.

Потолки — почти три метра, белёные, с лепниной по краям, которую кто-то когда-то покрасил золотой краской, и золото теперь облезло и стало бронзовым. Деревянные полы из широких досок, скрипящие в нескольких местах. Лера сразу нашла все: у входа, у лестницы и в правом углу кухни — просто прошла туда-обратно, и они обозначили себя. К ним можно привыкнуть, сказала она себе. Это была осознанная уступка. Первая.

Лестница вела на второй этаж — узкая, с деревянными перилами, отполированными до атласного блеска множеством рук за множество лет. Сколько людей здесь жило? Сколько рук касалось этих перил? Лера провела ладонью и почувствовала тепло дерева, которое нагрева-

ется от прикосновений, — не от солнца, а именно от рук. Это было странно и немного трогательно.

Она выбрала комнату на втором этаже — ту, что с окном на скалы и маяк.

Мама хотела, чтобы она взяла другую: там окно на море, светлее, больше площадь. Говорила это мягко, предлагая, не настаивая. Лера поставила сумку на пол второй комнаты и сказала: «эта». Мама помолчала и кивнула.

Почему не с видом на море — Лера не объясняла. Просто море было слишком открытым, слишком много его было сразу. А маяк — один, конкретный, понятный. С ним можно было находиться в одной комнате.

* * *

Они разгружали машину два часа.

Коробки, чемоданы, сумки, свёрнутые ковры, разобранные полки, упакованные в пузырчатую плёнку зеркала. Лера таскала молча. Мама руководила — что куда, что оставить у двери, что сразу наверх. Это была её стихия: организация, распределение, порядок в хаосе. Лера думала иногда, что мама справлялась с горем точно так же — раскладывала его по коробкам, подписывала, убирала в определённые места. Может, это помогало. Лера не знала. У неё самой горе никуда не раскладывалось.

Между рейсами к машине она останавливалась и смотрела на город отсюда, с тропинки у дома.

Снизу Скальное выглядело иначе, чем с шоссе сверху. Здесь был только фрагмент: кусок набережной, крыши среднего яруса, вдали — труба рыбного завода. Ещё левее, за скалами, было видно открытое море — сегодня спокойное, в лёгкой дымке, с двумя рыбацкими лодками на горизонте. Лодки почти не двигались. Они там просто были.

Жарко. Полдень. Цикады орали где-то в зарослях за каменной оградой — монотонно, с какой-то механической настойчивостью, как будто им за это платят. Тень от инжира была прохладной, и когда Лера проходила сквозь неё с очередной коробкой, разница в температуре была градусов пять — резкая, ощутимая, приятная.

— Перерыв, — сказала мама в какой-то момент. — Пойди выпей воды.

Лера поставила коробку. Зашла на кухню. Кухня была маленькой, с окном во двор, с потускневшими медными ручками на шкафчиках — такие ручки не делают уже лет тридцать. На подоконнике стоял горшок с засохшим растением: прежние жильцы оставили или забыли. Лера налила воды из-под крана — холодная, чуть солоноватая — и выпила стоя, глядя в окно на двор.

Инжир. Ограда. Кусочек тропинки.

Мама зашла следом, поставила чайник, начала разбирать коробку с кухонными вещами. Раскладывала чашки, звякала ложками. Привычные звуки в непривычном месте — это производило странный эффект, как будто знакомая мелодия сыграна в другой тональности.

— Мам, — сказала Лера.

— Что?

Пауза. Лера не знала, что хотела сказать. Что-то само вырвалось — имя, без продолжения.

— Ничего. Просто.

Мама оглянулась. Посмотрела на неё секунду. Потом кивнула — медленно, как будто это был ответ на вопрос, который не был задан вслух.

* * *

Коробку с книгами она занесла последней.

Тяжёлая. Дно промялось, один угол подклеен скотчем крест-накрест — два слоя, потому что первый не держал. Лера поставила её на пол в своей комнате, разогнулась, потёрла пояс-

ницу. За окном маяк стоял белый и тихий. Тень от него к этому часу уже ушла куда-то вправо и не доставала до дома.

Она взялась за скотч. Стала разматывать.

Книги укладывала без системы — просто доставала и ставила на полку рядами: сначала большие, потом средние, потом маленькие в пробелы. Это был её способ распаковки, выработанный ещё в детстве после первого переезда — тогда они переезжали из меньшей квартиры в большую, ей было восемь, и папа помогал ей расставлять книги, и они потратили на это весь вечер, потому что из каждой второй вываливались закладки, и каждую закладку надо было обсудить. «Это откуда?» — «Это ты сам вложил, ещё в том году.» — «А, помню. Хорошее место».

Папа читал всё, что попадалось под руку. Это она унаследовала от него.

Под последним слоем книг, на самом дне коробки, лежал конверт.

Белый, плотный. Лера вытщила его, не понимая сначала, что это. Потом увидела надпись.

Её имя. Его почерк.

Валерия.

Не «Лера» — «Валерия». Полностью. Так он писал только в важных вещах: в поздравительных открытках на день рождения, в записке, которую оставлял под подушкой, когда уезжал в командировку. Крупно, с нажимом, как будто имя само по себе было высказыванием.

Лера стояла посреди своей новой комнаты — полупустой, с книгами на полке и пустым шкафом и чужими стенами — и держала конверт обеими руками, и не двигалась.

Откуда он здесь? Его не было в её вещах. Она точно знала — собирала сама, коробку за коробкой, пересмотрела всё. Значит, мама. Мама нашла его, не сказала ни слова и положила на дно коробки с книгами, зная, что Лера разберёт книги первой.

Знала, значит.

Лера перевернула конверт.

На обороте — тот же почерк, тот же нажим:

«Открой, когда поймёшь, что пора жить дальше».

Она долго стояла.

Потом подошла к окну и поставила конверт на подоконник, прислонив к стеклу. Отступила. Посмотрела на него со стороны.

Белый прямоугольник на фоне вечернего неба. Маяк за стеклом. Тень от маяка на камнях.

«Когда поймёшь, что пора жить дальше».

Лера думала об этих словах долго и думала только одно: а если не поймёт? А если это вообще не ощущение, а просто решение — встать однажды и сказать себе: пора, — и потом идти, ничего особенно не понимая, просто потому что нельзя всё время стоять? Может быть, папа имел в виду именно это. Может быть, он знал, что понимания не будет, и нарочно написал «поймёшь», чтобы оставить ей пространство, время, право не спешить.

Она не знала. Его не было, чтобы спросить.

Конверт остался на подоконнике.

Она не убирала его. Не открывала. Просто пусть лежит — там, где его видно, где на него можно смотреть и привыкать к тому, что он существует.

* * *

Вечер пришёл тихо.

Мама сварила суп — из запасов, которые привезли с собой, потому что идти в магазин уже не было сил. Они ели на кухне, за столом, который прежние жильцы оставили — круглый, деревянный, с царапинами и несколькими выжженными кольцами от горячих кружек. Стол, за которым ели другие люди. Лера думала об этом, пока ела, и не понимала — хорошо это или нет.

— Нравится суп? — спросила мама.

— Да. Хороший суп.

— Ты почти не ела сегодня.

— Ела.

— Бутерброды не тронуты.

Лера промолчала. Мама тоже помолчала. За окном зашелестел инжир — поднялся вечерний ветер с моря, и листья зашевелились все разом, крупные и тёмные в сумерках.

— Я рада, что мы здесь, — сказала мама тихо. Не Лере — просто вслух. — Я знаю, что ты не довольна. Но я всё равно рада.

Лера посмотрела на неё. Мама смотрела в окно, в темнеющий двор. У неё было усталое лицо — не сегодняшняя усталость, а та, которая накапливается месяцами и не уходит от одной ночи сна. Лера вдруг подумала, что мама тоже потеряла. Не только она. Это было очевидно и как-то всё равно каждый раз как открытие.

— Я знаю, — сказала Лера.

После ужина она поднялась к себе.

Комната уже чуть больше ощущалась своей — книги на полке это делали. Чемодан открыт, но не разобран. Постельное бельё они постелили ещё до ужина — быстро, без разговоров, это был совместный ритуал, в котором не нужны слова: мама натягивает простыню, Лера заправляет углы.

Она легла на кровать поверх одеяла, не раздеваясь. Смотрела в потолок.

Белёные балки. Деревянные, потрескавшиеся чуть по краям. За одной из балок торчал ржавый крюк — зачем он там, непонятно. Рядом — тонкая паутина, почти прозрачная, похожая на незаконченный чертёж. Хозяйка не убрала. Или не заметила. Или оставила намеренно — маленькая небрежность, которая говорит: всё живое.

На подоконнике белел конверт.

Лера смотрела на него долго, пока не стало совсем темно и конверт не превратился в бледный прямоугольник. Потом вообще пропал в темноте. Но она знала, что он там.

За окном шумело море — ровно, методично, без пауз. Это был звук, к которому городской слух не привык: не нарастающий, не убывающий, просто постоянный. Как дыхание. Лера лежала и слушала, и думала об отце, и о маме на кухне, и о конверте, и об этом доме, и о прежних жильцах — тех, чьё имя было зачёркнуто на деревянной бирке ключа.

Климов. Кто были эти люди? Долго ли они здесь жили? Почему уехали?

Она не знала. И, наверное, не стала бы узнавать — если бы завтра не пошла на чердак.

Но это будет завтра.

Сейчас она просто лежала и слушала море.

И море шумело — спокойно и без конца, как будто ему не было никакого дела до того, что кто-то приехал или уехал, открыл конверт или не открыл, понял или не понял. Море работало. Делало своё. И это, как ни странно, было успокоительно.

* * *

Глава 2

Дом

Лера проснулась от света.

Не от будильника, не от шума — просто от света, который лежал на её лице тёплой полосой и не собирался никуда уходить. Дома, в её прежней комнате, солнце по утрам не доставало до кровати: мешал соседний дом. Здесь мешать было некому. Здесь между её окном и солнцем стояли только скалы, маяк и триста метров воздуха, пахнувшего морем.

В первые полсекунды она не поняла, где находится.

Потолок с белёными балками. Ржавый крюк. Паутина, похожая на незаконченный чертёж. Незнакомая тишина, в которой что-то ровно и глубоко шумело — не машины, не лифт, не соседи. Море. Ах да. Море.

А потом, как каждое утро, пришло второе пробуждение — то, которое она ненавидела и которого ждала. Полсекунды мир существовал целым, нетронутым, и в нём всё ещё можно было спуститься на кухню и увидеть папу с кружкой и телефоном, читающего новости и постукивающего пальцем по столу. А потом память просыпалась следом за телом и говорила: нет. И мир собирался заново — уже правильный. Уже без него.

Три месяца и двенадцать дней.

Лера лежала и дышала, пока это проходило. Она научилась: не сопротивляться, не отгонять, просто переждать, как переживают волну, накрывшую с головой. Сопротивляться было хуже. Сопротивление растягивало.

Внизу звякнула посуда. Запахло кофе — запах поднялся по лестнице, просочился под дверь, и это было настолько обычно, настолько из прежней жизни, что на секунду стало легче и тут же — стыдно, что стало легче.

На подоконнике белел конверт.

Ночью он растворялся в темноте, а сейчас стоял отчётливый, освещённый, с ровными краями. «Валерия». «Открой, когда поймёшь, что пора жить дальше». Лера смотрела на него с кровати долго, потом встала, прошла мимо — близко, в полуметре — и не взяла. Получилось почти естественно. Почти как будто это просто вещь на подоконнике, а не голос, который ждёт.

Где-то внизу, в городе, коротко и старомодно просигналила машина — два гудка, пауза, ещё один. Лера выглянула: по дальнему концу улицы полз белый фургон с синей надписью на борту, останавливаясь у калиток. К нему выходили — женщина в халате с бидоном, старик с сеткой.

— Молочный фургон, — сказала мама, когда Лера спустилась на кухню. — Представляешь, здесь до сих пор развозят молоко по домам. Хозяйка писала. Говорит, надо оставить записку в ящике, и тебя включают в маршрут. Я оставлю.

— Угу.

— Это же прекрасно. Молоко с фермы.

— Угу.

Мама налила ей кофе — в их чашку, привезённую, знакомую до последней шерстинки. Чашка стояла на чужом столе с выжженными кольцами, и выглядела как гостья, которая не знает, куда деть руки. Лера пила и смотрела в окно на инжир. Вода здесь была чуть солоноватой даже в кофе — вчера она думала, что показалось. Не показалось.

На холодильнике висел лист бумаги. Мамин почерк, ровные пункты: «1. Магазин (список). 2. Разобрать кухню до конца. 3. Комнаты. 4. Узнать про интернет. 5. Школа — документы (до 15.08.2024!)».

Мамин способ жить дальше. Раскладывать по пунктам, подписывать, вычёркивать. Лера иногда думала, что если бы горе можно было внести в список — «б. Пережить» — мама бы внесла и, наверное, вычеркнула бы в срок. Это была недобрая мысль, и Лера её прогнала. Мама держала их обоих на плаву уже три месяца. Списками, бутербродами, ранними выездами. Тем, что умела.

— План такой, — сказала мама. — Сначала пройдемся по дому, посмотрим, что нам вообще досталось. Потом магазин. Ты со мной?

Лера пожала плечом. Это означало «да». Мама научилась понимать её жесты.

* * *

Дом при дневном свете оказался больше, чем казался вечером.

Они пошли по комнатам вдвоём, открывая двери и ставни, и с каждым открытым окном дом менялся — свет входил в него полосами, и в полосах плавала пыль, медленная и золотая. Мама говорила: «так, здесь будет гостиная», «здесь можно кабинет, если что», «эти шторы выбросим» — размечала пространство словами, как флажками. Лера шла следом и смотрела на другое.

В гостиной на выцветших обоях остались прямоугольники — тёмные, насыщенного цвета, того самого, каким обои были лет двадцать назад. Прямоугольники шли по стене в два ряда, разного размера: большие, маленькие, один совсем крошечный, размером с открытку. Здесь висели фотографии. Много. Целая стена чьей-то жизни — а потом их сняли, все до одной, и обои вокруг продолжили выгорать, а под ними остались эти тёмные окна в прежний цвет.

Лера стояла перед стеной дольше, чем нужно.

Кто снимает со стены все фотографии? Тот, кто уезжает навсегда. Или тот, кому больно на них смотреть. Она знала кое-что про второе: у них дома мама убрала папины фотографии с полки в спальне через месяц — не выбросила, просто переложила в ящик, лицом вниз. Лера тогда молча достала одну и поставила обратно. Мама не сказала ничего. Фотография осталась.

— Лер, посмотри, какая кладовка! — позвала мама из-под лестницы.

Кладовка была глубокой, как маленькая комната. Пахло сухим деревом и керосином. На полках стояли пустые банки — рядами, по размеру, вымытые кем-то давным-давно и так и не пригодившиеся. Ящик с инструментами. Керосиновая лампа со стеклянной колбой, целая, только фитиль сгорел до основания. Свёрнутый гамак. Всё чужое, всё оставленное — не брошенное как попало, а именно оставленное: аккуратно, по местам, как оставляют вещи, когда верят, что кто-нибудь ими ещё воспользуется.

— Тут жили хозяйственные люди, — сказала мама с одобрением.

— А кто тут жил?

Мама выпрямилась, отряхнула ладони.

— Хозяйка — пожилая женщина. Тамара Ивановна. Я с ней только по телефону говорила и по почте. Продала дом, уехала к сестре, куда-то под Воронеж. Голос такой... усталый. Сказала: дом хороший, тёплый, стены толстые. Больше ничего особо не рассказывала.

— А до неё?

— Не знаю, Лер. Агент говорил — дом лет пять стоял пустой, она его даже дачникам не сдавала. Мог бы стоять дороже, если бы следили. Нам повезло, в общем. — Мама усмехнулась. — Он ещё сказал: «дом с историей». У них это, по-моему, значит «старая проводка».

Лера не улыбнулась. Она думала про бирку на ключе. «Климов» — зачёркнуто. Тамара Ивановна Климова, наверное. И кто-то ещё, потому что банки на полках, гамак и лампа — это не на одного человека жизнь. Это была семья.

Отметки она нашла на кухне, на дверном косяке, когда мама уже ушла наверх.

Карандашные чёрточки — от самого низа и выше, выше. Возле каждой дата, мелко, полустёршимся простым карандашом: 92. 94. 95. 97. Потом ещё: 99. 2001. Последняя — 2003, и возле неё, чуть в стороне, одна буква: «С.».

Кто-то рос в этом доме. Кого-то ставили спиной к этому косяку — не вертись, пятки прижми — и вели карандашом по макушке, и этот кто-то, наверное, требовал перемерить, потому что за год не могло быть так мало.

Лера, не думая, встала спиной к косяку, прижала пятки. Провела ладонью от своей макушки назад, к дереву. Обернулась.

Верхняя чёрточка — 2003, «С.» — пришлась ей ровно по брови.

Кто бы это ни был, они были почти одного роста. Лера стояла, приложив палец к чужой отметке, и чувствовала что-то странное — не страх, не грусть, а как будто сквозняк из года, в котором её ещё не было на свете.

— Лера! — крикнула мама сверху. — Иди сюда, тут люк на чердак!

Люк был в потолке коридора второго этажа — квадратная крышка, крашенная той же белой краской, что и потолок, с металлическим кольцом. Мама стояла под ним, задрал голову.

— Хозяйка писала, там остались вещи прежних жильцов. Сказала: можете разобрать, можете не трогать, ей ничего не нужно. — Мама подёрнула кольцо, не дотянулась, махнула рукой. — Стремянка в кладовке, я видела. Но это потом. Сначала магазин, иначе ужинать будем макаронами без всего.

* * *

Список был длинный, и мама разделила его пополам — не потому что так быстрее, а потому что («я же вижу, Лер») ей хотелось, чтобы Лера прошла одна, посмотрела город. Лера взяла ту половину, где был хлеб, сыр и «что-нибудь к чаю, выбери сама», и пошла вниз по Маячной.

Днём улица оказалась длинной и вся состояла из спусков. Булыжник под ногами был отполирован до глянца, между камнями росла трава. Дома по сторонам стояли белёные, невысокие, с деревянными ставнями — у кого голубыми, у кого зелёными, у кого давно никакими. Из-за одного забора пахло жасмином так, что кружилась голова. Из-за другого на неё внимательно посмотрела коза.

У аптеки — старой, с деревянными ставнями и жестяной вывеской на кронштейне — вывеска скрипела, раскачиваясь, хотя ветра почти не было. Скрип был ржавый, размеренный, как метроном. Наверное, он звучит тут всегда, подумала Лера. Годами. Такие звуки становятся частью места — их перестают слышать все, кроме приезжих.

Она ещё не знала, сколько человек за эти годы отсчитывало шаги от этой аптеки до автобусной остановки. И почему двадцать три.

Магазин назывался просто «Продукты» и был единственным на среднем ярусе. Внутри пахло свежим хлебом, картоном и почему-то немного школой. За прилавком стояла женщина лет шестидесяти, полная, в синем фартуке, с очками, сдвинутыми на лоб, — и она посмотрела на Леру тем особым взглядом, каким смотрят на незнакомое лицо в городе, где незнакомых лиц не бывает.

— Слушаю тебя, — сказала она, пока Лера складывала в корзину хлеб и сыр. И, не выдержав и трёх секунд: — Отдыхать приехали?

— Нет. Жить. Мы переехали. Вчера.

— Ну-у, — протянула продавщица с интересом, пробивая хлеб. — Жить. К нам обычно наоборот. А где поселились-то?

— На Маячной. Последний дом, у тропинки к маяку.

Рука с сыром остановилась. На секунду, не больше — потом поехала дальше, к весам, и весы пискнули, и всё продолжилось. Но Лера увидела. И ещё она увидела, как женщина у

дальней полки — худая, в платке, перебиравшая банки с горошком — перестала их перебирать. Не обернулась. Просто замерла, спиной.

— Дом Климовых, — сказала продавщица. Не Лере — куда-то в пространство между кассой и дверью, как будто в этом пространстве кто-то требовал отчёта. Потом посмотрела на Леру и улыбнулась ртом: — Хороший дом. Крепкий. Печку только проверьте до осени.

— А кто такие Климовы? — спросила Лера.

Пауза была короткой, но какой-то плотной — в неё, как в дверную щель, успело протиснуться что-то большое.

— Жили здесь такие, — сказала продавщица ровно. — Давно. С тебя четыреста двадцать.

Она отсчитала сдачу быстро и точно, и стало понятно, что разговор закрыт — не грубо, а как ставни закрывают: на день, по привычке, от жары. Женщина в платке так и стояла к ним спиной. Лера забрала пакет и вышла.

На улице возле магазина, на лавочке в тени акации, сидел старик с газетой — тот самый, вчерашний, в белой рубашке с закатанными рукавами. Он посмотрел на Леру поверх газеты, и взгляд у него был не любопытный, а какой-то проверяющий, как у врача.

— Соколовы, значит, — сказал он. Не спросил — сообщил.

Лера остановилась.

— Откуда вы знаете нашу фамилию?

— Город маленький, — сказал старик, и это, судя по всему, было исчерпывающим ответом на любой вопрос, который она могла бы здесь задать. Он перевернул страницу. — Хорошая фамилия. Светлая.

И всё. Лера постояла ещё секунду и пошла дальше, чувствуя спиной, что он уже не смотрит ей вслед — потерял интерес или сделал вид. Здесь всё узнают раньше, чем ты успеешь представиться, поняла она. Вопрос только, что ещё они узнают раньше тебя самого.

Обратно она пошла через набережную — крюк, но ей не хотелось домой по той же улице. У кафе с деревянной вывеской «У Костаса» пахло жареным луком и кофе, и сам Костас — огромный, в белом фартуке — выставлял на террасу стулья, переворачивая их со спинок одним движением, как фокусник.

— О! — сказал он, увидев её, так радостно, будто ждал с утра. — Новенькая! С Маячной! Заходи, заходи, не бойся, я всех кормлю, даже тех, кто без денег, потом обрабатывают — посуду моют!

— Я с пакетами...

— Пакеты не люди, подождут. — Он поставил перед ней на перила террасы маленькую тарелку, на тарелке лежало печенье, светлое, в сахарной пудре. — Пробуй. Курабье. По рецепту моей бабушки, а её бабушка привезла его вон оттуда. — Он неопределённо махнул в сторону моря, где, по-видимому, находилась Греция. — Ну? Только честно.

Печенье рассыпалось во рту и было настолько вкусным, что Лера не сумела соврать, даже если бы захотела.

— Очень, — честно сказала она. И, чтобы не молчать: — А маяк давно на реконструкции? Мы рядом живём, он прямо у нас за стеной.

Костас посмотрел на неё, потом на мыс, где над скалами белела башня.

— Маяк-то? — Он взял полотенце, стал вытирать руки — медленно, палец за пальцем. — Двадцать лет тёмный стоял. Теперь вот чинят, осенью обещают зажечь. Давно пора.

— Двадцать лет? Почему так долго?

Костас вытер уже сухие руки и посмотрел на море. Лицо у него оставалось добродушным, но что-то в нём прикрылось — как окно, в котором задёрнули занавеску, а свет оставили.

— У города спроси, — сказал он и засмеялся, но смех вышел короче, чем всё, что он говорил до этого. — Ты вот что. По средам я рыбу жарю, вся набережная слюной давится. Приходи с мамой. Скажешь — Костас звал.

Он подхватил очередной стул, и разговор кончился сам собой — легко, дружелюбно и абсолютно непроницаемо.

Поднимаясь по Маячной с пакетами, Лера думала о том, что за одно утро с ней поговорили четыре человека, и все четверо в какой-то момент сделали одно и то же движение — внутри, не снаружи. Как будто в каждом разговоре была дверь, мимо которой они её проводили, ускоряя шаг. Продавщица. Женщина в платке, замершая спиной. Старик со своим «город маленький». Костас со своим «у города спроси».

Все здесь говорили полфразы. Вторую половину город оставлял себе.

* * *

После обеда мама засела разбирать документы для школы, а Лера принесла из кладовки стремянку.

Она сама не могла бы объяснить, почему ей так хотелось на этот чердак. Может быть, потому что это было первое в новом доме, чего хотелось ей — не по списку, не по маминому плану, а просто. А может быть, из-за прямоугольников на обоях, и зарубок на косяке, и того, как продавщица сказала «дом Климовых» — в пространство, никому.

Крышка люка поддалась туго, с сухим деревянным стоном, и сверху дохнуло жаром — плотным, накопленным, пахнущим пылью, нагретой черепицей и старым деревом. Лера поднялась по стремянке и села на край проёма, свесив ноги, давая глазам привыкнуть.

Чердак был просторный, во весь дом. Свет входил через единственное слуховое окошко в торце — мутное, в разводах соли — и лежал на полу косым столбом, в котором медленно, торжественно плавала пыль. Крыша сходилась над головой тёмными стропилами. Было очень тихо — море сюда почти не доставало, только жара звенела, как звенит она в закрытых местах.

И там были вещи.

Мебель под простынями — белые силуэты у стены, как декорации после спектакля, который давно отыграли: угадывался комод, кресло-качалка, что-то высокое, может, зеркало. Санки с гнутыми полозьями. Швейная машинка с ножным приводом, чёрная, с золотыми стёршимися буквами. Коробки — много, десятка полтора, перевязанные шпагатом, с надписями на боках химическим карандашом: «Посуда», «Зима», «Шитьё», «Разное».

И у дальней стены, под скатом крыши — книжная полка.

Самодельная, из широких досок, крашенная белой краской, которая пожелтела и потрескалась. Полка была заставлена книгами — плотно, в два ряда, корешок к корешку, и по тому, как они стояли, было видно: их не сваливали сюда, их переносили. Кто-то поднял сюда целую библиотеку — и расставил. На чердаке, где никто не будет читать. Аккуратно, корешками наружу, как для людей.

Лера подошла, пригнувшись под стропилами. Провела пальцем по верхней доске — пыль лежала на ней серым войлоком, толстым, многолетним. На корешках угадывались собрания сочинений, детские книжки с потрёпанными углами, учебники — старые, с потёртыми обложками, наверняка исписанные на полях.

Ей вдруг очень захотелось сесть тут и перебрать всё — книгу за книгой, коробку за коробкой, эту законсервированную, накрытую простынями чужую жизнь. Не из любопытства даже. Из какого-то чувства, которому она не знала названия: когда людей нет, а их вещи стоят и ждут, кто-то же должен к ним прийти.

— Лера! — Голос мамы снизу был приглушённым, как из другого мира. — Ты где там? Темнеет уже, а тут ни одной лампочки в коридоре, иди помоги мне со шкафом!

Свет в слуховом окошке и правда стал густым, вечерним. Лера оглянулась на полку, на белые силуэты под простынями.

— Завтра, — сказала она им вслух, негромко. И сама удивилась, что сказала.

Это было решение. Первое её собственное решение в этом доме: она разберёт чердак. Всё, до последней коробки. Это будет её дело здесь — не по списку.

Она спустилась и закрыла за собой люк.

* * *

Вечером они ели макароны — всё-таки с сыром — и мама рассказывала про школу: документы почти собраны, директор ответила на письмо, в сентябре одиннадцатый класс, «класс маленький, четырнадцать человек, представляешь, у вас было тридцать два». Лера кивала и не представляла. До сентября оставалось два месяца, а два месяца отсюда, из этой кухни, были расстоянием, не поддающимся измерению.

— Я записку молочнику оставила, — сказала мама. — В ящик. Как в прошлом веке. Мне нравится.

— Угу.

— Лер.

— М?

Мама помолчала, крутя вилку.

— Ты сегодня разговаривала. С людьми. Я видела с террасы — с этим, из кафе. — Она сказала это осторожно, почти небрежно, но небрежность была отретпетированной. — Он вроде хороший дядька.

— Он дал мне печенье и позвал на рыбу по средам.

— Пойдём?

Лера посмотрела на маму. У мамы было такое лицо, как будто от ответа зависело гораздо больше, чем рыба.

— Пойдём, — сказала Лера.

Мама кивнула и стала смотреть в тарелку, и по тому, как старательно она туда смотрела, Лера поняла, что мама боится заплакать, и заговорила про чердак — быстро, про санки и швейную машинку, про коробки с надписями. Про полку она почему-то не сказала. Оставила себе.

Ночью она лежала в кровати и слушала море.

Оно шумело так же, как вчера, — ровно, без пауз, как дыхание, — но сегодня в этом звуке уже было чуть меньше чужого. Одна ночь, а уже меньше. Тело привыкало быстрее, чем она успевала ему разрешить, и Лера не знала, благодарить его за это или стыдиться. Хорошее всё ещё ощущалось предательством. Но уже не каждую минуту. Может быть, так это и происходит, думала она. Не решением, не пониманием — просто минутами, в которые забываешь не чувствовать.

Конверт на подоконнике был почти неразличим — бледное пятно на фоне неба.

Она уже засыпала — по-настоящему, тяжело, всем уставшим за день телом, — когда наверху раздался звук.

Стук.

Негромкий, но отчётливый: что-то твёрдое коротко ударило о дерево. Прямо над её головой. Прямо над потолком её комнаты — там, где чердак.

Лера открыла глаза.

Тишина. Море внизу, за окном, — ровное, ни при чём. Балки над головой едва угадывались в темноте. Она лежала не шевелясь и считала про себя, сама не зная зачем — восемь, девять, десять, — и уже почти убедила себя, что звук ей приснился, что это дом оседает, дерево остывает после жаркого дня, старые дома всегда разговаривают по ночам...

И тогда наверху раздался скрежет.

Долгий, протяжный — как будто что-то тяжёлое протащили по доскам. Полметра. Может, метр. И — три коротких удара, глухих, деревянных, один за другим, как будто что-то покатилося, подпрыгивая, и остановилось.

Потом стало тихо. Совсем.

Лера лежала на спине, вцепившись пальцами в одеяло, и смотрела в потолок, за которым был чердак — запертый на крышку с кольцом, с белыми силуэтами под простынями, с коробками и полкой, — чердак дома, простоявшего пустым пять лет.

Дома, в котором, кроме них с мамой, никого не было.

Сердце стучало так, что отдавалось в подушку. Море шумело. Больше сверху не доносилось ни звука — но она уже знала, что не уснёт.

И ещё она знала — так же ясно, как своё имя, — что завтра всё равно туда поднимется.

* * *

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.